

Лейтенант Шмидт

К 107-й годовщине казни П.П. Шмидта

То, что происходило в 1905-1906 гг. на юге Российской империи, в том числе в Одессе, сегодня мало кого тревожит. Оно и понятно: бытовые проблемы, поиски заработков, рутина повседневной жизни далеко отбросила события тех далеких лет. Высокая гражданственность, боль за судьбы тружеников, простых людей, обостренное чувство справедливости – все эти слова сегодня скорее часто приходится встречать на страницах газет, нежели ощущать в себе и на себе жителям не только нашего города, но и подавляющему большинству граждан Украины. На фоне всего этого жизнь лейтенанта Шмидта похожа на падающую звезду, которая лишь на мгновение своим блеском привлекла внимание и взбудоражила сердца многих тысяч людей.

В мае 1917 года Одесса была разбужена ревом паровых сирен. Вскоре к ним присоединились гудки заводов. Трижды ударили залпы артиллерийского салюта. Десятки тысяч людей потянулись в порт, неся знамена и транспаранты. В гавань вошел крейсер «Мария» с приспущенным флагом. С него на руках сняли четыре увитых кумачом гроба и вынесли их на берег. Многотысячная траурная процессия, которая прошла по улицам города и вернулась в порт, продолжалась четыре часа. Потом гробы снова были водружены на паровоз, и он под вой сирен ушел в Севастополь. Так одесситы: моряки, портовики, рабочие и просто честные граждане Одессы – отдали последний долг героям восстания на крейсере «Очаков» – лейтенанту Шмидту, матросам Частнику, Антоненко, Гладкову, расстрелянным царскими палачами 6 марта 1906 года.

Мотивы поступка П.П. Шмидта как в те далекие времена, так и сегодня для многих остаются неразгаданной тайной, по-разному объясняемой политиками, писателями и обычными гражданами, но последние слова, произнесенные им перед казнью: «Я знаю, что столб, у которого

я встану принять смерть, будет водружен на грани двух разных исторических эпох нашей родины... Не гражданин Шмидт, не кучка восставших матросов перед вами, а стомиллионная Россия, и ей вы выносите свой приговор», – предостерегают, звуча пророчески и по сей день.

Личность П.П. Шмидта привлекала к себе и зачаровывала многих людей. Одним из них был Степан Гаврилович Петров – достаточно известный в свое время писатель, публиковавшийся под псевдонимом Скиталец, который был выбран не случайно и символизировал множество испытаний, выпавших на долю этого самородка.

Родился С.Г. Петров в 1868 г. в Самарской губернии в крестьянской семье. В 16 лет поступил в учительскую семинарию, но был исключен за «неблагонадежность» и попал в певчие. Затем служил писарем в окружном суде и в земстве; был странствующим хористом в малороссийской труппе Кропивницкого, изредка выступая и солистом. В 1898 г. С.Г. Петров поступил в архиерейский хор в Самаре и одновременно с этим начал сотрудничать с «Самарской газетой». Обладая способностью писать «гладкие стихи» в каком угодно количестве, он стал поставлять свои творения на злобу дня и в течение 2 лет написал около 20 тысяч стихов. В Самаре Скиталец познакомился с Максимом Горьким, что и определило его дальнейшую судьбу.

В период реакции 1908-1914 годов он написал много рассказов, один из которых, посвященный казни П.П. Шмидта и трех его товарищей-матросов, был напечатан 25 марта 1912 года в «Одесских новостях», но по «неизвестным» причинам так и не был включен ни в один из изданных сборников писателя.

Казнь лейтенанта Шмидта была описана в десятках книг и сотнях статей, однако рассказ Скитальца опосредованно протягивает как бы связующую нить от марта 1906 к сегодняшнему дню. Создается ощущение, что события сами собой оживают, заораживают, и вот, казалось бы, еще чуть-чуть – и ты уже там, с ними рядом, дышишь морем, степью, вроде как попал в четвертое измерение. И выходить из этого состояния не хочешь – это как наркотик. Однако наступает конец и тебя охватывает чувство неудовлетворенности оттого, что так и ушел в небытие противоречивый, неразгаданный, тайный и в то же время какой-то близкий и родной человек – Петр Петрович Шмидт, жизненным лозунгом которого были порядочность и честность перед собой, положивший жизнь за достоинство и лучшую жизнь простого человека.



С.Г. Петров (Скиталец)

В одной из статей о лейтенанте Шмидте ее автор О. Ильницкая заметила: «Даже если вы сами не занимаетесь переустройством мира, не стремитесь разрушить что-то, многое, все и до основания, чтобы потом построить иначе, но просто сочувствуете, то и вас вовлекает разрушительная хаотизирующая сила революционной стихии. И вы тоже становитесь заложником неблагополучия, пополняя ряды революционеров – самоповредителей души и жизни. Достоянная позиция сегодня – это позиция обывателя, заложника нашего светлого завтра, ибо ради обывателя, что в переводе на рус-

ский означает «горожанин», идет жестокая борьба болезненных амбиций, жажды власти и денег. Однако же победа в ней должна доставаться не ценой жизни горожан! А депутаты всех уровней, времен и народов лукавят, что именно об их благе думают и за это ратуют».

Рассказ Скитальца ошеломляет своей красочностью и некоторой мистичностью. Он заставляет читателя задуматься, вздрогнуть и как бы переносит его на место казни героя, и создается ощущение, что сам Шмидт находится где-то рядом.

Прошло более 100 лет с написания Скитальцем рассказа о казни лейтенанта Шмидта, а как он свеж и своевременен! Да, история повторяется и идет по спирали...

Свидетель

Рассказ Скитальца, опубликованный в газете «Одесские новости» 25 марта 1912 г. и подготовленный к публикации В.В. Шерстобитовым

– Вы говорите – комедия? Да, конечно, комедия, только разыгралась она не на сцене театра, а в настоящей жизни, да еще

и вошла в историю государства российского. Все вы эту комедию видели и даже отчасти в ней участвовали, не видели только последнего заключительного акта, в котором пришлось мне быть не только свидетелем, но и некоторым образом действующим лицом. Если уж вы так просите, то я, пожалуй, расскажу. Что же? – скрывать мне тут нечего, да и дело это прошлое, теперь значительно забытое: другие настали времена, другие интересы, многим, я думаю, и вспоминать-то о том времени и не хочется.

Господи, боже мой! Бывало, не знаешь, чего держаться, как думать, нынче эти наверху, а завтра, может быть, они внизу окажутся, и на их места нижние идут? Почва уходит из-под ног! Ну, однако, скоро выяснилось, что все это было не больше, как комедия, и я перестал колебаться. Нужно вам сказать, что по окончании духовной семинарии я поступил в университет и окончил там медицинский факультет, однако вследствие изменившихся взглядов моих возвратился вспять и принял духовный сан. Упоминаю об этом потому, чтобы вы знали, что я не только врач духовный, но еще и просто, по образованию моему, медик, следовательно – человек вполне интеллигентный. Взгляды мои вы также знаете: я – настоящий военный священник, служащий правительству не только за страх, но и за совесть.

Откровенно говорю: я ненавидел этого важного политического преступника не только личной ненавистью, но, главным образом, по убеждениям моим и, когда смертный приговор был подан на конфирмацию, сильно возмущался. Я открыто говорил тогда, показывая на мой наперсный крест, который ношу на груди: «Если приговор будет смягчен и преступника не казнят, то клянусь этим крестом – я больше не слуга такому правительству, я сниму и крест, и сан мой! Во имя всех нас и всего государства таким людям не должно быть пощады, взявшие меч от меча и погибнут! В пример другим он должен быть казнен. Он должен быть казнен! – говорил я. И когда действительно приговор был утвержден и господа офицеры, посмеиваясь, спрашивали меня, доволен ли я? – я отвечал: «Еще бы! Очень! Ибо справедливость торжествует! Дерево неплодное секирой секут и в огне сжигают! Если слепец ведет слепых, то все в яму упадут!». А он вел за собой

слепых, увлекал их ложью своего красноречия, ибо эту силой укрепил его сам дьявол-отец.

Помню, как сам я испуган был действием слова его, когда он говорил на суде. Ведь какой суд был?! Что бы не говорил подсудимый, все равно, приговор от этого не мог измениться: он уже готов был заранее. Но, по закону, подсудимому было предоставлено последнее слово. Я присутствовал в зале заседаний и помню, как на вопрос председателя суда поднялся он со скамьи.

Высокий он был, фигурую строен, а лицом спокоен и бледен. Стоял вот так, с опущенной головой, и молчал с полминуты, и в зале тоже воцарилось молчание, а потом быстро вдруг откинул голову – обычная его ораторская манера – заговорил. Заговорил таким слабым, чуть слышным голосом, словно это был умирающий, а потом и пошел, и пошел, слово за словом, все сильнее, да ярче, да увлекательнее. Начал он – словно тихие звезды с неба хватал да бросал их одну за другой в волны рокочущие, а кончил – словно тяжкие камни опускал на глубокое дно...

Заговорил он, помню, словами от Писания, когда апостолы спросили Христа: «Господи как мы станем проповедовать? Языка неверных не знаем». И ответил Христос: «Не сами возглаголите: осенены будете силою свыше». – Вот и я, говорит, до суда думал отказать от последнего слова и ничего не готовил заранее, а теперь скажу то, что явилось мне свыше», – и пошел, и повлек меня за собою, действительно, как бы сверхъестественною силою... И уже не мог я критически отнестись к тому, что он говорил, а так и шел за каждым его словом, мыслью их повторяя за ним.

Забыл я на это время всю ненависть мою и недоверие мое к нему, словом – забыл себя самого. Когда он кончил, в смущении вышел я в отдельную комнату и долго сидел там в молчании, как бы в колебании каком-то душевном. А когда пришел в себя и опомнился, то еще больше возненавидел волшебника сего с его заученным ораторским искусством, ловкостью приемов, с его актерством, притворством и опасной способностью очаровывать словами.

Еще более укрепился я в прежних мыслях моих и горячо вставал против малейших послаблений ненавистному человеку этому.

Когда в ожидании казни сидел он в каземате с тремя товарищами своими и поднимался вопрос о разрешении незаконной сожительнице его (З. И. Р. не была сожительницей Петра Шмидта – видно, автор этого не знал, а пользовался слухами. – **В. Ш.**) приходиться к нему на свидание, я высказался против этого: расфранченная, надушенная тонкими духами, соблазнительная барынька – зачем тут она? К чему такая побрякушка преступнику? Предосудительно, нежелательно и совсем напрасно.

Но вот приблизился роковой момент: командирован был я посетить всех троих заключенных (четверых. – **Авт.**) и дать им возможность исполнить последний долг каждого христианина исповедаться в грехах и причаститься св. даров. Хорошо-с. Отправился я.

Вхожу к нему в камеру. А он стоит у окна, ко мне спиной, и, должно быть, крепко задумался о чем-то, не заметил даже появления моего. Я стою у двери, смиренно скрестив вот так руки на груди, придерживая крест наперсный, пристально смотрю на него и молчу...

Вдруг он, словно почувствовал взгляд мой, вздрогнул и быстро обернулся, вскинул голову и тоже уставился на меня с некоторым как бы недоразумением.

– Я пришел, говорю, дать вам возможность исполнить последний долг всякого верующего христианина, ибо близко время, говорю...

Тут он понял, что смертный приговор подписан, а то, видно, все ждал и на что-то надеялся.

Взволновался. Говорит мне доверчиво так, по-детски как-то:

– Да как же, батюшка, ведь в этом есть какое-то противоречие...

Не понял я, о каком противоречии говорит он, – уж не о том ли, что по долгу службы дать ему последнее утешение пришел враг его злейший?..

Перебил я его и говорю:

– Какое же тут может быть противоречие? Ведь вы верующий?

Ожидал я, что сознается он в неверии своем и богохульное что-нибудь скажет или хоть оскорбит меня словом каким.

Но сказал он мне с прежней доверчивостью:

– Да, батюшка, в Бога я верую.

– Ну, так вот, говорю, коли искренне верите, то исповедайтесь и причаститесь, ибо близок день, когда предстанете к Престолу Всевышнего...

Ничего он больше не возразил, помолчал немного – и согласился.

Встал он предо мной на колени, и я, как бы сам Христос был на месте моем, исповедал и причастил его.

Верите ли? Навзрыд плакал он, исповедуясь, и опять было помутился я духом моим, но когда стал он к кресту прикладываться, вдруг так и пахнуло от него на меня развратными женскими духами. Ложь! Притворство! Комедия! Старая ненависть моя восторжествовала, и только обряд отпущения грехов исполнил я, но в душе не простил его, и сердце мое не смягчилось.

Вот таким манером я напутствовал его в загробный мир и пошел напутствовать остальных. Те-то трое – простые люди, грубые, озверелые, приняли меня так, что искренне возмутился я и оскорбился: разбойники и негодяи! – «Ты, говорят, поп, лучше бы водки нам принес! Убирайся!» и при этом неприличные слова. Повскакивали с нар, да ко мне! Ну, тут дневальный ворвался с солдатами и скомандовал: «Нары занять и ни с места! Иначе будете убитыми на местах!» – и, хоть ждали они себе казни позорной, – однако угрозы этой убоялись и присмирели на нарах, как звери. Я же, возмущаясь, поспешно удалился. Конечно, начальство – все знакомые мне: постаралось изгладить неприятное впечатление и пригласили меня по окончании закусить и выпить. Всю ночь до рассвета просидели мы тогда в разговорах за обильною трапезой; обсуждали значение событий тогдашних, разговор наш неотступно крутился вокруг имени главного преступника нашего, заявившего себя верующим в Бога христианином, исполнившим перед грядущей смертью обряды покаяния и причастия... И казалось нам, что неискренно все это было им сделано, ибо иначе великое противоречие должно было иметь сердце его...

Таинственным казалось мне сердце его. Хотелось раскрыть его и прочесть там подтверждение лживости человека того и оправдание ненависти нашей.

На рассвете подали к пристани катер, чтобы отвезти печальный кортеж на пустынный берег моря, где избрано было место для свершения казни. Собрался и я.

Заблаговременно надел под рясу епитрахиль – и какая досада – служба завернул в узел красную епитрахиль: не надо бы красную-то, неловко все-таки! Да уж поздно было переменять! Надел я ее заранее в каюте и запахнулся хорошенько, чтобы не видно было. Спустили их всех на катер связанными и на веревке, чтобы не вздумали броситься в море. Тех, простых-то, в трюм посадили, а он попросил позволения остаться на палубе. Позволили. Я тоже не возражал против этого: на палубе-то мы с ним только двое остались, а мне хотелось еще раз поговорить с ним наедине и нащупать тайны сердца его, ту гнусность душевную, без которой не мог бы ведь он совершить великое и гордое, сатанинское преступление, именуемое восстанием против Бога и все божеское на земле.

Ну, вот, катер давно уже мчится, а мы с ним в молчании странном сидим и смотрим, как разостлалось лазурное море до края небес. Около этого места, куда мы приближались, море большею частью бывает тихое, особенно ранним утром, а на этот раз утро выдалось редкостным: море было зеркальное и каждую минуту меняло цвет свой: то оно нежно-бирюзовое, словно шелковая пелена, золотыми звездами расшитая, то как яхонт оно или изумруд-камень, а то вдруг лиловым отольет или от зари яркие краски лягут на нем, то засеребрится и станет как бы снежное поле в лунную ночь, или вдруг набежит облачко и ярко зазеленеется море, как весенний луг... Вижу, смотрит он с восторгом необъяснимым на морскую гладь, озирается кругом, пораженный чудесами света и теней, в последний раз встречая зарю восходящую, словно прощаясь с миром земным, красотой и благодатью исполненным...

Что думал он в эти минуты? Не хотелось ли ему крыльев орлиных, чтобы подняться над морем в небесную высь? Не мечталось ли ему обернуться щукой зубастой и уйти на глубокое морское дно?

Неведомы мне были мысли его, но видел я, как всем существом своим не верит он в смерть свою, как жадно ему хочется жить на этом свете, как жаль милого солнышка и любимой женщины, и друзей дорогих...

И тогда прервал я молчание наше.

– Знаете ли вы, – заговорил я, – что в числе солдат, которые будут расстреливать вас, есть один, любимый вами, близкий вам человек?

Вскинул он голову, посмотрел на меня пристально.

– Кто же это? – спрашивает.

– Дневальный ваш! Говорят, предан был вам!

Промолчал он, ничего мне на это не ответил.

Тут неожиданно ветер порывистый налетел неизвестно откуда, сморщилось море, позеленело, зарябилось, захлопали черные флаги над головами нашими, а у меня вдруг рясу распахнуло, и предстал я пред собеседником моим в красной епитрахили при свете алой зари, словно облитый кровью...

«Как палач!» – невольно подумалось мне самому.

Смущенный, поспешно запахнул я и нахмурился, а ветер как нарочно, будто играя, так и раздевает меня, и мелькает в прорехе красное мое одеяние. Сначала отшатнулся он даже, а потом спросил:

– Это почему же, батюшка, епитрахиль на вас красная?

Тут разгневался я.

Встал, запахнул я, шляпу надвинул, крикнул и посмотрел на него с открытою враждою:

– А потому, говорю, что начинали вы под красным флагом, а кончаете под красной епитрахилью.

Отвернулся, отошел от него, и до самого прибытия на место не сказали мы больше ни слова.

И доволен я остался ответом моим.

Тут вскорости прибыли мы к месту.

Ах, и безотрадное же выбрали место: пустынное, тоскливое, одинокое, ни травки, ни кустика, плоский безжизненный берег да тихое беззвучное море, а неподалеку от берега готовы четыре столба и вырыты могилы.

Высадились.

Начались приготовления.

Стали на осужденных белые саваны надевать, да под руки веревками каждого к столбу привязывать.

– Холодно! – говорит один.

– Ничего! – отвечает другой. – Скоро совсем остынем!

– Нет ли у кого покурить? – спрашивает третий.

Конечно, эти шутки висельников и их напускное спокойствие были ничем иным, как бравированием.

Бравировал и он! Вынул папироску и закурил.

Тут подошел к нему я и, указывая на столбы, сказал ему строго:

– Потрудитесь бросить папиросу и не курить, ибо здесь начинается ваша Голгофа...

Сознаю теперь, что неуместным вышло у меня это сравнение, что и самому мне, как только я сказал, навсегда врезалось в мозг странное внешнее сходство: пустынное место казни, столбы и привязанные к ним разбойники, казнимые вместе с непонятным для меня человеком.

Должен признать, что держал он себя с большим самообладанием: послушался, бросил папиросу и попросил не надевать на него савана и не привязывать. Просьба его была уважена. Быстрыми шагами подошел он к столбу – встал, выставил грудь и руки крестообразно раскинул.

Солдаты встали на место.

Кроме солдат были тут еще и донские казаки, доставленные на отдельном судне. Они встали двумя рядами по бокам линии солдат и как сцепили их. Эта предосторожность была принята на случай, если бы солдаты отказались бы стрелять. Но солдаты были из надежных. Да чего тут! Офицер, командовавший ими, был до всех этих событий другом его (не друг, а черная тень Петра Шмидта – Михаил Ставраки. – **В. Ш.**), на «ты» они были, но долг прежде всего: когда они встретились лицом к лицу на месте казни, осужденный сказал своему бывшему другу:

– Вася – и ты?

Но тот ответил официально: я здесь не Вася, а офицер, исполняющий долг свой...

И все было исполнено по форме.

Был зачитан приговор.

Осужденные слушали с напускным спокойствием, все мы стояли во время чтения, не шелохнувшись, только молодой товарищ прокурора не выдержал, заткнул уши и побежал прочь. Нервы. По окончании чтения осужденный вдруг позвал меня:

– Батюшка, подойдите на минутку!
Бегом, придерживая крест и путаясь в рясе, подбежал я к нему. Стоит, как встал у столба; крестообразно вытянув руки, и тянется ко мне – крест поцеловать!

Приложился к кресту и быстро-быстро заговорил:

– Батюшка, встаньте позади солдат и крест над ними повыше в руки подымите: я на крест буду смотреть!

Непонятно, почему я так охотно и быстро, бегая рысцой, исполнял все его просьбы! В эти минуты я как-то сблизился с ним, как будто были мы заговорщиками и делали одно общее, важное для нас обоих дело в его вкусе.

Забегал я за спины солдат и высоко поднял крест, а он было начал говорить громким голосом прощальное слово, да офицер приказал замолчать и скомандовал солдатам.

Солдаты подняли ружья на прицел.

– Ради Бога – в сердце! – успел он крикнуть им, и это были его последние слова.

Грянул залп.

Упал он без крика. Остальные привязанные, в саванах, убитые наповал, без стопа повисли на веревках.

Но одному из них пуля попала, как после оказалось, в верхнюю часть груди. Как он кричал! Это было что-то ужасное! От его визга, корч и хрипов мороз по коже и волосы поднимались на голове! Врач, по долгу службы присутствовавший при казни, человек привычный к смертям и убеждений крайне правых, упал в обморок.

Вот тут-то я и не могу объяснить ни вам, ни себе, почему я побежал не к этому несчастному, если вообще нужно было бежать куда-нибудь, а к «моему», без крика упавшему. Мне казалось, что и он, может быть, жив еще, что вот-вот он очнется и закричит, и забьется так же ужасно, как тот, все они трое воскреснут и поднимут леденящий душу вой, и тогда это будет невыносимо до сумасшествия! Не могу понять, какая сила распорядилась мной, но я подбежал к неподвижному, навзничь лежащему труп. То, что я сделал потом, еще меньше поддается описанию и какому-нибудь объяснению. Я присел на корточки; расстегнул на нем жилет и рубашку и стал осматривать рану: да, я убедился, что



Не топчите мой прахъ... Я дома а вы въ гостяхъ...

Лейтенантъ П. Шмидтъ.

Казненъ въ 1906 г. на островъ Березань.

Тип. Лопшицъ, Одесса Преображенская 94.

солдаты целились ему в сердце, и ни один не промахнулся: пули были всажены одна в другую и образовали прямо против сердца одну сплошную рану с медный пятак величиной. Тогда я, засучив рукав моей рясы, вложил в эту рану персты мои и стал нащупывать в груди его сердце: но сердца там уже не было: в руке моей я ощутил только теплую кровавую кашу – вот все, что осталось от гордого самонадеянного сердца, жаждавшего погибели нашей! Сомнений не было: он был мертв – я действовал как медик.

Занятый этим исследованием моим, я почти не помню выстрелов, которыми, говорят, добивали недобитого.

Когда я поднялся – он уже молчал.

Молчали и живые. Поспешно предали мертвых земле и с каким-то облегченным сердцем отчалили от берега. Над морем всходило багряное солнце.

Публикация Валерия Шерстобитова

